



А. Д. СИНЯВСКИЙ

Роман М. Горького «Мать» как ранний образец социалистического реализма*

По складу ума и таланта Горький — невероятно пытливый автор. Он движим желанием понять людей, постичь действительность. И потому он не просто изображает то, что видит вокруг, или то, что вспоминает, как это делали и делают средней руки беллетристы-реалисты, а докапывается и доискивается до правды, которую иногда находит, а иногда теряет. Когда он теряет правду, не понимает или перестает понимать действительность, или когда он делает вид, что ее не понимает, он становится истинным художником. Тогда человек в его изображении предстает как какое-то странное, непонятное, алогичное и даже иррациональное существо и становится загадкой. Горький силится ее понять, но не может, и поэтому он всматривается в нее, внимательно изображает и разводит руками: нет, все равно не могу постичь!.. Тогда-то, в виде художественной компенсации, приходит к нему — «остранение», великолепный литературный прием, известный издревле, в частности в форме загадок. Возьмем простейшую русскую загадку. Что такое: два конца, два кольца, а посередине гвоздик? Подразумевается: ножницы. Однако ножницы не названы, а нарисованы словами и звуками в качестве загадки, в которую мы всматриваемся, которую мы видим (пускай ничего еще не понимая). Ножницы в данном случае изображены — остранинно.

Когда Горький что-то не мог понять, он широко пользовался остранинием. По поводу плотника Осипа, например (повесть «В людях»), сказано: «Он опрокидывал все мои представления о нем». И тем самым Осип его привлекал, раздражая любопытство, хотя так и остался неразгаданным

* Печатается по: *Синявский А.* Роман М. Горького «Мать» как ранний образец социалистического реализма // Избавление от миражей: Сопреализм сегодня: Сб. ст. / Сост. Е. А. Добренко. М.: Сов. писатель, 1990.

до конца. Но, благодаря этой непонятности, Осип, говорит Горький, на какое-то время «в моих глазах широко разросся и закрыл от меня всех людей». На подобном разрастании загадочного, остраненного образа построены лучшие вещи Горького — такие, как «Детство», «В людях», «Заметки из дневника», написанные как заметки о многообразных странностях русской жизни. Прием остранения сообщает повествованию Горького напряженную зрительную силу и обновляет его реалистическую манеру. В результате русский народ — и в этом непреходящая заслуга Горького — предстал у него как пестрое скопление «затейливых» людей, как чрезвычайно интересный народ. Помимо деления персонажей на положительных и отрицательных, на хороших и дурных, что Горькому тоже было очень свойственно, у него по временам появляется и действует иной критерий — критерий, я бы сказал, интересности. В повести «Детство» о бабушке сказано и сказано замечательно — рядом с остраненной картиной пожара, показанного как захватывающее, праздничное зрелище: «Она [бабушка] была так же интересна, как и пожар».

Непонятливого писателя пугает и вместе с тем притягивает тревожный алогизм жизни, и, погружаясь в него, он, по собственному признанию, научился на какое-то время терпимее относиться к людям и книгам, находя в алогизмах жизни ценнейший материал для художника. Такой художник далек от идеологии. Напомню слова Горького из письма К. Федину от 13 ноября 1926 г.: «Жизнь — алогична, и нет и едва ли может быть такая идеология, которая могла бы удовлетворительно объяснить все алогизмы»¹.

Но нет хуже, если Горький вдруг начинает все понимать. Тогда в дело вступает, по его собственному определению, по его термину, «социальная педагогика». Тогда Горький принимается учить своих персонажей и своих читателей уму-разуму, стремясь в них возбудить (опять-таки по его выражению) — «действенное отношение к жизни». Тогда он становится непомерно идеологичен и назойливо рационален, рассудочен. К таким ухудшенным вариантам горьковской прозы принадлежит роман «Мать», справедливо принятый в советской историографии как первый образец социалистического реализма.

По своему жанру это воспитательный роман. Притом воспитательный в двойном значении. Во-первых, он призван воспитывать читателей, входя в программу горьковской «социальной педагогики». Как сказал Ленин в беседе с Горьким: «книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают “Мать” с большой пользой для себя». Во-вторых, и сюжет в романе «Мать» построен как воспитание человека, как посте-

¹ Лит. наследство. М., 1963. Т. 70. С. 513.

пенное пробуждение в нем новых сторон и возможностей. Тем не менее образ матери сам по себе, несмотря на ряд натяжек, представляется мне интересным и удачным в художественном отношении. Потому что под пером Горького эта женщина живет не умом, а сердцем. Ею движет в первую очередь любовь к сыну, а затем его друзья становятся как бы ее детьми. Для нее сами идеи социал-демократии это скорее не идеи, а вера сердца. Т. е. образ матери лишен слишком большой и тяжелой идеологической и интеллектуальной нагрузки. Процесс воспитания чувств у матери начинается на примитивном, но вполне доступном ей и трогательном уровне. Скажем, друзья Павла ей нравятся, потому что они не пьют, не ругаются и не дерутся, как делают это другие рабочие в поселке. Да и в дальнейшем мать выполняет, в сущности, скромную, низовую работу (разносит и развозит нелегальную литературу), как подобает женщине ее психологического склада и положения. В результате она сохраняет естественность и материнскую широту натуры. Само слово «мать» становится ударным, нарицательным (мать всех людей, мать — народ, правда, земля) при — одновременно — живой конкретности образа.

Этого не скажешь о героях романа, исполняющих роль пролетарских революционеров. В особенности страдает ходульностью главный положительный герой книги Павел Власов, которому Горький старался придать черты пролетарского вождя и сообщил его фигуре титаническое величие рабочего класса в целом — как творца всех ценностей и будущего хозяина жизни. Тут Горький не пожалел героического пафоса, уходя от реализма в сторону революционной риторики.

В принципе, и на основе риторики возможно создание полноценных образов. Однако недостаток романа «Мать», а вместе с тем его литературное своеобразие заключается в вопиющем смешении разных стилей. Это, с одной стороны, традиционный реализм, который стремится представить вещи и характеры в духе жизненного правдоподобия. А с другой, вступающая с ним в противоречие риторика, которая в подобном контексте звучит особенно фальшиво. Риторика в итоге прорывает реалистическую ткань романа и из нее торчит.

В сущности, в характере Павла Власова очень мало от рабочего человека. Кстати, большая часть действия протекает здесь возле завода, куда уходят по утрам персонажи и откуда они возвращаются к вечеру, усталые, но веселые. Но чем они там занимаются, каким трудом и какую, вообще, продукцию выпускает завод, остается в неизвестности. Ибо не эта сторона их деятельности занимает автора. Соответственно, и Павел — рабочий лишь номинально. На деле же это партийный идеолог, за которым идут в ногу другие рабочие и который в роли ведущего положительного лица наделяется всевозможными достоинствами:

красотой, умом, бесстрашием, нестигаемой силой воли и т. д. В отличие от матери, которая живет сердцем, Павел живет головой и верит в спасительный разум, который освободит человека. Но, сколько ни возвышает его Горький, а точнее сказать, именно потому, что чересчур его возвышает, — Павел оказывается фигурой безжизненной. Люди сердца (как мать) и натуры стихийные или корявые (вроде Рыбина) лучше удаются Горькому, нежели вот такие запрограммированные умники с ярким светом мысли вместо глаз. Павел по складу и облику напоминает ходячую статую, которая без конца резонерствует. Недаром в сцене первомайской демонстрации несколько раз упоминается его «бронзовое лицо», которым любитесь мать. Это, конечно, аналогия с классическими, под античность, статуями — предвестие социалистического классицизма сталинской поры. Хотя, рассуждая здраво, следует признать, что в глазах матери и в ее сознании вряд ли могла вспыхнуть эта «бронзовая аналогия», поскольку мать никогда не видела подобных статуй. Это всего лишь очередная попытка автора приподнять Павла Власова и поставить на пьедестал вопреки его внешне правдоподобному окружению.

Стереотипно повторяются глаза Павла, героически сияющие. Скажем, мать «смотрела в лицо ему и видела только глаза, гордые и смелые, жгучие». Или — через три страницы: она «видела лицо сына, его бронзовый лоб и глаза, горевшие ярким огнем веры». В романе великое множество банальных и высокопарных красотостей — типа: «Мать поднялась взволнованная, полная желаний слить свое сердце с сердцем сына в один огонь».

Персонажи из революционного лагеря при каждом удобном случае обмениваются рукопожатиями: при встрече, при прощании и по ходу разговора. Эти рукопожатия, разумеется, не просто обычный повседневный жест, но некий символ, призванный подчеркнуть пролетарскую солидарность и товарищеские нравы, царящие в этой среде. Но символических рукопожатий так много, что они превращаются в штамп. Попутно эти люди друг друга беспрестанно и горячо за что-нибудь благодарят и награждают друг друга стереотипными комплиментами. Вроде: «хорошо с вами» или «хороший вы человек». Сама же Ниловна о своих новых друзьях и знакомых говорит или думает словами: «милая ты моя, милая», или «родные вы мои, родные». Это, понятно, опять-таки должно передать родственные отношения, возникшие у матери с людьми нового круга. А кроме того это Горький таким легким путем нахваливает своих героев и старается сделать их образы более обаятельными и человечными, показать, что все это очень милые, хорошие и достойные люди. Вот и повторяет один герой другому: «хороший вы человек», а тот ему, как попугай, тем же самым отвечает. В результате

в роман вливается добрая доза сентиментальной слащавости. Иногда в таком стилистическом ключе Горький теряет всякое чувство меры и происходит что-то чудовищное. Ниловна, например, проникшись новыми идеями, начинает держать речи перед Людмилой, профессиональной революционеркой, женщиной суровой и сдержанной, которой все эти восторги известны наизусть:

«Она взяла руки Людмилы, крепко стиснула их, говоря:

— Дорогая вы моя! Как хорошо это, когда знаешь, что уже есть в жизни свет для всех людей и будет время — увидят они его, обнимутся с ним душой!

Ее доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто улыбались и брови трепетали над ними, как бы окрыляя их блеск. Ее охмеляли большие мысли, она влагала в них все, чем горело ее сердце, все, что успела пережить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы светлых слов. Они все сильнее рождались в осеннем сердце, освещенном творческой силой солнца весны, все ярче цвели и рдели в нем. <...>

<...> Она добилась, чего хотела, лицо Людмилы удивленно вспыхнуло, дрожали губы, из глаз катились слезы, большие, прозрачные.

Мать крепко обняла ее, беззвучно засмеялась, мягко гордясь победою своего сердца.

Когда они прощались, Людмила заглянула в лицо ей и тихо спросила: «Вы знаете, что с вами хорошо?»»

Из несообразностей горьковского сюжета и стиля в романе «Мать» стоит обратить внимание на одну забавную, но с первого взгляда не очень заметную сторону. В романе то и дело пьют чай, ставят самовар, вносят самовар, уносят самовар и т.д. Вот некоторые примеры:

«Самовар вскипел, мать внесла его в комнату. <...>

— Чтобы понять, отчего люди живут так плохо <...> говорила Наташа».

«<...> А хохол, ставя самовар, говорил <...>»

«Он залпом выпил стакан чаю и продолжал рассказывать».

«Пили чай, сидели за столом до полуночи, ведя душевную беседу о жизни, о людях, о будущем».

«Николай и мать стали пить чай <...> тихо разговаривая».

«Мальчик внес самовар».

— Знакомься, Сережа! Пелагея Ниловна, мать того рабочего, которого вчера осудили».

Подобные ремарки можно легко умножить.

Спрашивается, почему в романе о социал-демократах, о грядущей революции Горький побил все рекорды по числу чаепитий? Я думаю, это не просто вещественная деталь тогдашнего российского быта, залетевшая в роман Горького под впечатлением, быть может,

от прославленных постановок Художественного театра с чеховским подтекстом и натуральным антуражем. Но это в данном случае обратная сторона горьковской революционной риторики. Это ее, так сказать, обоснование и сопровождение. Ведь нельзя заставлять героев бесперебойно ораторствовать. Они и так чересчур усердно предаются этим занятиям, притом находясь в домашнем кругу, с глазу на глаз, уговаривая друг друга и объясняя один другому правоту идей революции. Повторять прописные истины между собою революционерам не требуется. Но они необходимы автору в порядке политпросвещения и воспитания читателей. И для того, чтобы громкие лозунги не повисали в воздухе, в виде житейской связки и понадобился самовар, за которым герои могли бы собраться и вволю поговорить. Самовар — это реалистическая декорация для риторического спектакля, который на этом фоне должен смотреться убедительнее. К тому же самовар служит передышкой, разрядкой посреди взаимной агитации и пропаганды, позволяя героям попутно с речами производить простые, безобидные, ни к чему не обязывающие жесты и действия: скажем, помыть чашки или в очередной раз внести и унести самовар. Да и мать при самоваре выглядит натуральнее. При самоваре она как бы находится при деле. Появляется предмет, к которому ее можно приткнуться. Правда, самовары в таком избытке становятся невольной и неосознанной пародией.

Параллельно чаепитиям и иным незатейливым проявлениям домашнего быта в романе существует другой — более важный — смысловой и стилистический слой, дополняющий риторику. Это сближение революционной идеологии и, вообще, социалистических эмоций и построений с христианской религией. В романе «Мать» к образам революции протягиваются устойчивые религиозные ассоциации. Они по временам смягчают и как бы утепляют революционную фразеологию, а иногда еще больше сгущают ее пафосный и риторический строй. Советские исследователи, много занимавшиеся романом «Мать», обычно стыдливо обходят эту религиозную сторону. Мне же она представляется весьма интересной, если не с художественной точки зрения, то в плане своеобразия горьковского подхода к идеям революции и социализма. Но у этой «религии» имеется и художественная логика, и своя психологическая мотивировка. Прежде всего она мотивирована психологией и внутренним голосом самой матери, которая до знакомства с новыми людьми и идеями была женщиной глубоко религиозной. Но вот парадокс: эта религиозность почти не мешает матери, а чаще помогает проникаться светом нового вероучения, которое несет ее сын социалист и атеист Павел. Одна религия, христианская, причудливым образом переплетается в ее сердце с другой религией, революционной, и посте-

пенно подменяется ею, но та в свой черед подкрепляется христианством, объясняется и окрашивается. Скажем, мать лучше понимает сына через сравнения с Христом, который ведь тоже пожертвовал собой ради спасения людей и тоже обращался не к богатым, а к бедным. Иногда это в ее устах звучит наивно, но психологически достоверно. Потому что религиозность матери не исчезает с ее воспитанием, а по существу углубляется и усиливается, принимая новые формы и контуры. И даже позднее ее новая революционная восторженность приобретает характер какой-то религиозной экзальтации, когда, допустим, отправляясь в деревню с нелегальной литературой, она чувствует себя молодой богомолкой, которая идет в далекий монастырь поклониться чудотворной иконе. Или — когда слова революционной песни на демонстрации смешиваются в сознании матери с пасхальным пением во славу воскресшего Христа.

Но религиозная психология матери не единственный источник, откуда проникают в роман аналогии с христианской религией. Сами революционеры иной раз пользуются подобной фразеологией, говоря, допустим, что у пролетариев всех стран одна общая религия, религия социализма. И даже рационалист Павел, для которого бог это человеческий освобождающий разум, не мешает матери верить в Бога-Христа по-своему. Более того, только-только занявшись революционным самообразованием, он вешает в доме картинку религиозного содержания — воскресший Христос, шагающий со своими спутниками по дороге в Эммаус. Символика весьма прозрачна: революционеры это и есть воскресшие люди, познавшие высшую истину, которая спасет и воскресит все трудовое человечество. Да и сам Павел, в трактовке Горького, это святой апостол новой веры. Недаром имя у него нарочито апостольское, а фамилия Власов, возможно (неосознанно для автора), говорит о власти, о властности, о командной роли Павла. И все это уже исходит не от психологии матери, а от психологии самого Горького, который, можно думать, и религиозной психологией матери воспользовался со своим особым расчетом: сблизить социализм и религию и придать социализму религиозную окраску. Потому и его революционно-героический пафос отдает порою пафосом торжественного церковного богослужения.

Все это позволяет лучше понять, почему в конечном счете Горький оказался своим человеком в сталинском государстве и сделался столпом режима, принявшего церковный характер, с ритуальным поклонением власти обожествленного вождя. Но и на раннем этапе русские социалисты, будучи атеистами, подчас принадлежали к религиозному психологическому типу. Это хорошо видно на примере Горького. Разумеется, он не верит в Бога, однако жаждет иметь

какого-то нового бога, которому он мог бы фанатически поклоняться и заставлял бы других людей служить новой религии. Имена этого бога и этой новой веры меняются и переплетаются у него в голове. То это Человек с большой буквы, то разум, то правда, то пролетариат, то народ, то социализм. Иной раз это звучит в достаточной степени странно. Скажем, вера в правду или вера в разум. Правду надо видеть, до правды можно доискиваться, разумом можно и нужно пользоваться. Но Горькому требуется непременно верить в эти чудесные вещи. И тот же социализм и марксизм для него это не столько предмет размышлений, сколько предмет веры.

Вера ему нужна по нескольким причинам. Согласно его понятиям, она украшает жизнь и возвышает человека. Без веры человек впадает в отчаяние, опускается, погибает. Об этом сказано устами матери: «Живут ожидая хорошего, а если нечего ждать — какая жизнь?» Вот это «что-то хорошее» и оказывается объектом веры в образе социализма, когда все на земле станет прекрасным и радостным. Отсюда неизбежная идеализация действительности под углом зрения веры, которая, по Горькому, призвана возбуждать активное отношение к жизни. Но тут же религия Горького сталкивается естественно с христианской традицией и выступает одновременно как богоборческая религия. Несколько позже с подобной дилеммой мы встретимся в ранней поэзии Маяковского, только выражена она более резко, экспрессивно, трагично и, прямо скажем, более художественно.

В итоге автор из круга символистов, Г. Чулков, писал в 1909 г.: «Максим Горький — самый верующий из современных писателей. Каков объект его веры — это иной вопрос, но природа его переживаний определяется именно верой». И более того: «Максим Горький единственный верующий писатель»². Возможно, в этих словах содержится преувеличение. Но они, заостряя проблему, проясняют многое в творчестве Горького с его социалистическим мифом, заменившим загробный мир, Царство Божие, бессмертие души и убегающим, как земной горизонт, по мере нашего к нему приближения. В частности, они позволяют увидеть, каким путем Горький от романа «Мать» пришел к другому большому роману «Исповедь», пришел к «богостроительству».

С легкой руки Ленина горьковское «богостроительство» в советской историографии принято называть «ошибкой». Эту ошибку якобы он совершил под влиянием наступавшей реакции, после безупречного идейно романа «Мать». Мне же представляется, что это не «ошибка», а закономерное и логичное развитие Горького. И «богостроительские»

² Чулков Г. Статьи. СПб.: Шиповник, 1905–1911. С. 87, 92.

идеи глубоко заложены уже в романе «Мать», где многие страницы проникнуты различного рода революционной религиозностью. Неслучайно один из персонажей там с яростью утверждает, что «и бога подменили нам», и, значит, надо «веру новую придумать <...> надо сотворить бога...» И даже за словами Павла, отрицавшими Бога, мать, говорится, слышала порой «крепкую веру в него же», в Бога. В социализме ей чудится триумф грядущей религии: «— Ведь это — как новый бог родится людям!.. И когда я говорю про себя слово это — товарищи! — слышу сердцем — идут!»

Это идет по земле «народушко-богостроитель». Что он построит, кого сотворит, коль скоро сам автор, в сущности, признается, что все это лишь красивая фикция, аллегорическая пустышка? Но если любая религия в понимании Горького это выдумка и подчас вредная выдумка, то собственную выдумку он считал полезной и правильной. С нею была сплетена теория и практика «возвышающего обмана», к которой Горький периодически возвращался, хотя и не всегда последовательно. Отсюда же питалась и набирала силы концепция социалистического реализма, мешавшая правду с обманом, предложенная Сталиным и поддержанная Горьким четверть века спустя после написания «Матери». Накануне I-го съезда писателей и на съезде Горький пространно толковал о прелестях мифотворчества, в котором народ обожествлял себя, о необходимости отображать современность «с высоты великих целей будущего», никак не отклоняясь притом «от математически прямой линии», начертанной большевистской партией. Предполагалось почему-то, что все это вместе обеспечит расцвет литературы и искусства. Расцвета не последовало. Но ирония истории состояла в том, что пока Горький проектировал и обосновывал социалистический реализм как великое дело будущего, краеугольный камень этого стиля в виде романа «Мать» висел у него за спиной. Искусство, как подобает, опережало действительность.

